

ВРЕМЯ ШЛЫ 93 1986

РЕДАКТОР "НЬЮ-ЙОРК ТАЙМСА" КРЭЙГ УИТНИ:
ПИСЬМО ГОРБАЧЕВУ



ВРЕМЯ И МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Двенадцатый год издания

Выходит один раз
в два месяца

93
1986

НЬЮ-ЙОРК — ИЕРУСАЛИМ — ПАРИЖ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ" — 1987

**ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

**ВАГРИЧ БАХЧАНЯН
ЮРИЙ БРЕГЕЛЬ
ДЖОН ГЛЭД
АРОН КАЦЕНЕЛИНБОГЕН
ЛЕВ НАВРОЗОВ
ГРИГОРИЙ ПОЛЯК**

**ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН
ИЛЬЯ СУСЛОВ
МОРИС ФРИДБЕРГ
ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ
ЕФИМ ЭТКИНД**

Израильское отделение журнала "Время и мы"

Заведующая отделением Дора Штурман

Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422/6

Французское отделение журнала "Время и мы"

Заведующий отделением Ефим Эткинд

Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu, 92800

PUTEAUX, FRANCE

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Джеймс ДЖОЙС

Сирены 5

Геннадий ХАЗАНОВ

Зашитое общество 53

Михаил ГОРОДИНСКИЙ

Генерал Бархударов и другие 66

Алла ТУМАНОВА

Читайте, завидуйте 77

ПОЭЗИЯ

Иван ЖДАНОВ

Одна душа на всех 87

Борис ГРИГОРЬЕВ

Юдоль моя, квартира городская 94

ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТИКА

Крэйг УИТНИ

Письмо Горбачеву 100

Борис СЕГАЛ

Синдром хама, или конец нашей цивилизации 114

Ефим ЭТКИНД

"Молюсь за тех и за других". 130

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Зелик ФРИШЕР

Американская медицина 145

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Алла КТОРОВА

Черное и серое 164

Владислав ХОДАСЕВИЧ

Черепанов 176

ПИСЬМА С КОММЕНТАРИЯМИ

Переписка из двух советских углов

Письма Н.Эйдельмана и В.Астафьева 192

Юлий ДАНИЭЛЬ

Эксгумация предателя 205

Лариса БОГОРАЗ

Душевные муки сексота 210

Ефим МАНЕВИЧ

Беседа с "маленьким бухгалтером". 216

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ". 228



Алла ТУМАНОВА

ЧИТАЙТЕ, ЗАВИДУЙТЕ...

Тундра ночью представляет собой феерическое зрелище. Черное, звездное небо висит низко-низко над головой. Сверкающий серп луны не освещает ни небо, ни землю — он сам по себе, острый и желтый. Ведь свет поднимается с земли, от снежной, бескрайней равнины. Это даже не свет — это молочный, призрачный туман, который как будто колыхнется в морозном воздухе. Когда же небо освещается всполохами северного сияния, то от восторга и от какого-то мистического страха дух захватывает. Все похоже на сказку — и прекрасно, и жутко, и неправдоподобно.

Две упряжки оленей друг за другом бегут по еле различной дороге, вернее, виден впереди только санный след. Нам не часто приходится ездить на оленях, обычно из лагеря в лагерь заключенных артистов и весь наш багаж перевозят на грузовиках. Тогда мы трясемся в кузове, ударяемся об острые углы сундуков с костюмами. Светящиеся фары машины, рокот мотора, вонь бензина — во всей этой мешанине "циви-

лизованных" ощущений тундра исчезает, ее красота тускнеет. Да и нет почти времени любоваться дорогой — машина мчит с такой скоростью, что через 20-30 минут мы уже в следующем лагпункте. Но когда выпадает такая удача, поездка на оленях, мы просто счастливы. Почти неслышен бег оленей, редкий окрик каюра нарушает тишину. Полозья чуть поскрипывают. А мы молчим, потому что говорить сейчас грех. Это понимают все: и не склонный к романтике, похожий на боксера, кларнетист-литовец Гердас, и утонченная, сохранившая и в бушлате изящный вид, москвичка Регина Тарасова, и вся наша небольшая разномастная, разнонациональная культбригада. Мы же с Алдоной Мацкевичуте, моей подругой-певицей, совсем потеряли голову от восторга. Мы с ней самые младшие, нам немногим больше двадцати, а потому, наверное, все воспринимаем с особой остротой. Хоть бы не кончалось это чудесное скольжение саней! Нам тепло в черных овчинных тулупах (новое и невиданное доселе одеяние для заключенных — "подарок" нашего начальника культурно-воспитательной части полковника Никонова). На нас одеты толстые ватные штаны и валенки. В такой одежде и мороз почти не чувствуется. Сейчас, наверное, около тридцати, но в полном безветрии и сухом воздухе иное ощущение холода. Олени бегут небыстро, еле подрагивая ветвистыми рогами, кажется, что и им так же хорошо, как и людям.

Путь от женского лагпункта до 11-го мужского лагеря не так далек — часа полтора. Выехали мы рано, около четырех, но и тогда уже на дворе была ночь. Дня почти нет в это время года — уже в три часа все начинает сереть и быстро погружается во мглу, а уж в пять часов над головой сияют звезды, если, конечно, нет метели.

С тех пор как наша бригада обслуживает все окрестные лагеря, мы разъезжаем очень много. Сначала нас сопровождал конвой, потом нам выдали пропуска, и мы стали путешествовать самостоятельно. В эти либеральные послесталинские времена (шел 55-й год) многие заключенные получили пропуска, а некоторые даже жили за зоной, продолжая числиться за своим лагерем. Чудеса происходили в нашей жизни.

После расстрела Бери, Абакумова и еще нескольких высшего ранга вершителей наших судеб лагерное начальство не могло прийти в себя. "Кто же теперь вы? Кто же теперь мы? Кто же теперь они?" — вопрошала растерянная надзорка, слушающая грозные обвинения в адрес своего бога и повелителя Бери. Она стояла в бараке для двадцатипятилетних, из репродуктора раздавался мрачно-торжественный голос диктора: "Агент английской, японской и прочих разведок, враг народа", — и прочее, и прочее. Взгляд надзорки блуждал по лицам заключенных. Нас она не видела и не нам задавала свои вопросы, на которые не ждала ответа. Эту растерянную, жалкую надзирательницу я никогда не забуду.

Насмерть перепуганное лагерное начальство начало заигрывать с заключенными, сообразив, что сегодняшний зэк завтра может стать большим начальником, а то и следователем. А он, сегодняшний "вольняшка", не приведи Бог, может оказаться и подследственным... В такой нестабильной обстановке все может быть.

Мои поездки с артистами только начались. Я попала в эту привилегированную бригаду в смутное время. Культбригада, развлекающая начальство и заключенных, превратилась в агитбригаду. Раньше все политические темы в репертуаре строго воспрещались, теперь наоборот — монтажи с песнями о Родине, стихи о войне, будящие патриотические чувства, с высокоидейным содержанием — все это стало нашим репертуаром. Такой вот развлекательно-воспитательный концерт мы везли и на этот раз.

Впереди показались лагерные вышки, освещенные прожекторами. Из мира дикой природы мы возвращались в жестокий мир людей.

Одиннадцатый лагпункт считался тяжелым лагерем, сюда отправляли здоровых мужчин, чтобы выколачивали побольше угля. Часто переводили из других пунктов в виде наказания. Звероподобный начальник этого лагеря пользовался недоброй славой во всей округе интинских лагерей. Старые лагерники, побывавшие во многих местах заключения, хорошо знали, как много зависит от того, какой нрав у начальника лагеря, у

старшего надзирателя. Даже от самого низшего по чину "вольняшки" зависело, сносное ли житье будет в лагере. Одиннадцатого лагпункта боялись все. Ослабление режима здесь происходило особенно медленно. Культбригаду начальник лагеря допускал редко. Я ехала туда первый раз.

У широких ворот лагерной зоны, перевитых колючей проволокой, олени упряжки остановились. Мы вывалились из саней, с трудом передвигая затекшие ноги. Мужчины вытащили ящики с костюмами. Шмонали нас на вахте очень тщательно, все костюмы перетряхнули, заставили расстегнуть полшубки, снять валенки. Процедура эта была привычна — мы безразлично наблюдали усердие надзирателей. И они и мы знали, что это проформа, так как ничего запретного, кроме маленьких записок-писем, мы в зону не внесем. А записки, эта святая почта всех лагерей, при любом режиме и при любом шмоне обязательно дойдут до адресата.

Тут изворотливости и смекалке заключенных нет предела. И, конечно, у каждого из нас были запрятаны письма (на лагерном языке — "ксивы") от дочери к отцу, от жены к мужу, от влюбленных, знакомых только по переписке. Десятки плотно сложенных, свернутых, перевязанных клочков бумаги от любящих, тоскующих друг без друга людей. Если записки будут найдены, нам не сдобровать — дело кончается в таких случаях и карцером, и списанием на общие работы. Но неписанный лагерный закон заставлял людей идти на риск.

Шмон окончен, и мы благополучно входим в зону. В это время дня или, вернее, ночи лагерь похож на мертвый, брошенный людьми поселок. Ровными рядами выстроились черные, прибитые к земле бараки. Еле светятся крошечные оконца. Длинные валы из снега тянутся вдоль бараков. За долгую зиму эти валы превращаются в высокие снежные стены — дороги между бараками становятся похожими на белые траншеи. На этих узких улицах кое-где маячат темные, бесформенные фигуры, но их с трудом можно разглядеть, так как вся зона погружена во мрак.

Ярко освещена только территория между двумя рядами колючей проволоки. Здесь — белоснежный, алмазный наст без

единого следа. Сюда устремлены взоры четырех "попок" с автоматами на четырех вышках по углам зоны. Ни зверь, ни человек не пройдет здесь незамеченным.

Только у барака-столовой оживленно. Уже стоит толпа, ожидающая нашего появления. Для заключенных мужчин приезд культбригады двойной праздник — хоть какое-то развлечение, и главное, встреча с женщинами, общества которых они лишены многие годы. Умиленные улыбки, радостные лица — здесь не очень ценят наше искусство, но замечают нашего убогого вида, мы все вместе представляем для них женщин всего мира, некую прекрасную женскую субстанцию, женщину-богиню. Удивительно, как эти огрубевшие, измученные, изголодавшиеся без женщин люди преображались в нашем присутствии. Они не знали, как нас лучше принять, угостить, обогреть. Нам несли подарки за сцену, кульки с конфетами, нас кормили особым, специально для нас приготовленным обедом. Мужчинам всегда казалось, что страдаем мы больше них, а многие чувствовали себя виноватыми за судьбу своих жен, сестер, матерей.

Встреча с нашими собратями по несчастью всегда была полна самых разнообразных чувств: и радости, ведь и нам было тоскливо без мужчин, и растерянности от их поклонения нам, и благодарности, и щемящей жалости к людям, которым было куда горше, чем нам — мы в этом были уверены.

Время близилось к восьми, и мы спешили за сцену. Там первым делом раздавались драгоценные письма, иногда их отдавали одному доверенному зэку. Потом начиналась подготовка к концерту. Как ни топили к нашему приезду барак, а переодеваться в легкие, воздушные платья было неприятно. Наш художник, недавно появившийся в бригаде, Александр Сергеевич, возится на сцене с подсветкой, прилаживает роскошный задник, изображающий залитый солнцем пейзаж средней полосы России — этот фон должен настроить зрителей на веселый лад. "Шурик из Парижа", как мы прозвали нашего декоратора (он действительно прямо из Парижа десять лет назад попал на Воркуту, вместо дорогой Москвы, куда стремился) . Шурик делает чудеса: он одевает нас в "дягилевские" ко-

стюмы, яркие, необычные (им бы позавидовали и на воле!), из папье-маше сооружает невиданный реквизит. Концерты оформлены в парижском вкусе (так, во всяком случае, нам кажется). Мы очень ценим нашего Шурика, которому вот-вот стукнет шестьдесят лет.

Занавес закрыт, и мы только слышим гул заполняющегося зрительного зала. Столы убраны, и все пространство длинной столовой уставлено скамейками. Артисты волнуются, так уж положено, но волнение это, как правило, вселяет только особое вдохновение. Я же волнуюсь до полуобморочного состояния — мурашки бегут по спине, дрожу, как в лихорадке, то ли от холода, то ли от страха.

Регина Тарасова шефствует надо мной, подбадривает: "Ты такая бледная, как смерть, положи грима, — советует она мне. — И не трусь, как бы ты не прочла, все будут покорены. Ты можешь просто выйти на сцену и помолчать — успех тебе обеспечен!"

Наш худрук Николай Порфирьевич Клаус, в прошлом концертмейстер и дирижер из Минска, длинный, худой, на мой взгляд, старик (лет сорока пяти), занимается своим маленьким оркестром. В его подчинении кларнетист, ударник, скрипачка, и он сам "заведует" аккордеоном.

Все готово к началу. На мое несчастье, я должна выступать первой — так решило начальство, придавая моему номеру особое значение. Полковник Никонов, начальник по воспитательной части, долго беседовал с нами, объясняя наши новые задачи. "Вы должны помочь людям выйти на свободу не озлобленными, а любящими свою Родину, настоящими советскими людьми", — тихим голосом внушал нам седой полковник. Занавес медленно раздвигается, я стою перед темным залом. Сейчас я выполняю возложенную на меня миссию.

"Владимир Маяковский. "Стихи о советском паспорте", — произношу я глухим от волнения голосом. Из темноты на меня смотрят сотни глаз. В первых рядах я различаю лица, озаренные улыбкой. Меня с любопытством разглядывают: молоденькая, симпатичная девчонка, что-то она нам расскажет? Большинство в этом зале не знает, кто такой Маяковский —

западные украинцы, литовцы, латыши, эстонцы еще не успели познакомиться с "лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи" (как когда-то назвал Маяковского Сталин). Заключенные-иностранцы и вовсе о нем не слышали, а свои, российские, на фронтах да в плену позабыли, если и знали.

— Я волком бы

выгрыз

бюрократизм.

К мандатам

почтения нету!

— начинаю я уже окрепшим голосом, входя в свою роль "агитатора, горлана-главаря".

К любым

чертям с матерями

катись

любая бумажка.

Но эту...

Волнение исчезло. С гордо задранной головой я делаю шаг вперед и оказываюсь у самого края сцены. Меня распирает чувство патриотизма, болезненное чувство любви к своей родине, которая лучше всех, и это надо всю жизнь доказывать всем окружающим и, главное, самой себе. Я не видела ни одной другой страны в мире, но я твердо знаю, что только в моей стране людям живется хорошо. Вот смотрите на меня! Я — против всего несправедливого буржуазного мира. Я — зэ-ка под номером Э-881, враг народа, еврейская националистка, изменница родины, террористка (так сказано в моем приговоре), осужденная на 25 лет лишения свободы, — убеждаю таких же, как и я, заключенных с номерами на спинах, как прекрасна Советская власть. Там, за пределами нашего справедливейшего, гуманнейшего общества, люди ненавидят друг друга, презируют другие национальности, плюют на чужие паспорта.

К одним паспортам —

улыбка у рта,

К другим —

отношение плевое.

сидели ни за что десять-пятнадцать лет. Ваша вина только та, что остались живы, попав в военную мясорубку — умри вы, и все было бы в порядке. Вы вступились за попранные национальные чувства и осуждены как враги народа. Неважно, что жизнь покалечена, и из молодых вы превратились в беззубых стариков, что нет уже дома, куда можно вернуться, что семьи вырваны с корнем и отправлены умирать в Сибирь, что уже страшно некоторым переступить порог долгожданной свободы...

**Я достаю
из широких штанин
дубликатом
бесценного груза:
читайте,
завидуйте,
я граждан
Советского Союза!**

Моя рука с воображаемым паспортом протянута к заключенным: "Вот он, отобранный у вас паспорт! Вы не видели его уже много лет и вряд ли увидите скоро. Пусть вам завидуют: вы — заключенные Советского Союза!" В этот момент справедливый Бог должен был испепелить меня. Но он оставил мне жизнь, чтобы я никогда не забыла моего позора.

Зал молчал недолго, потом раздалось не вполне стройные аплодисменты. Раскланявшись, я ушла за сцену. Меня поздравляли мои коллеги с прекрасным дебютом. В концерте я не раз выходила на сцену в других номерах — и в веселом украинском танце, и в скетчах. Первый номер, наверное, скоро забылся, потому что встречали и провожали меня горячими аплодисментами.

Концерт скоро окончился, за сцену пришли счастливые, которые уже знали кого-то из бригады, или смельчаки, желавшие познакомиться. Я ждала появления двух симпатичных молодых людей, с которыми познакомилась издали на строительстве дорог. Они махали мне из колонн, шедших на шахту, даже написали по записке, предлагая для начала свою дружбу. Но напрасно я смотрела по сторонам, молодые люди не появились.

Уже позднее, когда у меня было много знакомых в мужских лагерях, некоторые рассказали, как были шокированы моим выступлением, но потом простили. Те, кто не пожелали со мной познакомиться, не могли забыть и не хотели простить.

Я давно уже не читала Маяковского. Мы ставили пьесы о войне, оперу "Запорожец за Дунаем". Я пела и танцевала, переодевая костюмы много раз за вечер. Волею случая я была избавлена от повторения позорного моего начала. А если бы не было этого случая?..

* * * *

Жизнь человека кажется мне длинной, длинной цепью превращений. Если б можно было встретиться с самим собой в разные периоды жизни! Вот человек средних лет беседует с собой — юношей, или седой старик спорит с собой, пытаюсь разобраться в длинной жизни. Как понять свои поступки в прошлом? Ведь это был ты, ты сам — чуть красивее, розовее, глаже. Но руки, ноги, голова, твоя родинка на щеке — все, все, что называется "я", было то же. От одних воспоминаний голова кружится, дух захватывает: сколько благородства, смелости, как это красиво выглядело. От других — поташнивает, так и хочется оттолкнуть их от себя, забыть. Наверное, это хорошо, что нельзя повстречать себя прошлого. Неважно, что перед тобой стоит зеленый юнец: "Как ты мог? Как не понимал низости своей?! Что теперь оправдываться — прошлого не воротишь. Ты это сделал тогда, а я всю жизнь должен казнить себя".

Вот и жизнь подходит к концу, а память не тускнеет и возвращает меня в мою юность. И тычет носом меня, старого, в дела твои, моя молодость.